

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

**НЕМНОГИЕ ДЛЯ
ВЕЧНОСТИ ЖИВУТ...
(СБОРНИК)**

Русская классика (АСТ)

Осип Мандельштам

**Немногие для вечности
живут... (сборник)**

«Public Domain»

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Мандельштам О. Э.

Немногие для вечности живут... (сборник) /
О. Э. Мандельштам — «Public Domain», — (Русская классика
(АСТ))

ISBN 978-5-17-110289-0

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-17-110289-0

© Мандельштам О. Э.
© Public Domain

Содержание

Стихи	14
Камень (1908–1915)	14
«Звук осторожный и глухой...»	14
«Сусальным золотом горят...»	14
«Из полутемной залы, вдруг...»	14
«Только детские книги читать...»	14
«Нежнее нежного...»	15
«На бледно-голубой эмали...»	15
«Есть целомудренные чары...»	16
«Дано мне тело – что мне делать с ним...»	16
«Невыразимая печаль...»	17
«Ни о чем не нужно говорить...»	17
«Когда удар с ударами встречается...»	17
«Медлительнее снежный улей...»	18
Silentium	18
«Слух чуткий парус напрягает...»	19
«Как тень внезапных облаков...»	19
«Из омута злого и вязкого...»	20
«В огромном омуте прозрачно и темно...»	20
«Душный сумрак кроет ложе...»	20
«Как кони медленно ступают...»	21
«Скудный луч, холодной мерою...»	21
«Воздух пасмурный влажен и гулок...»	22
«Сегодня дурной день...»	22
«Смутно-дышащими листьями...»	23
«Отчего душа так певуча...»	23
Раковина	24
«На перламутровый челнок...»	24
«О, небо, небо, ты мне будешь сниться!...»	24
«Я вздрагиваю от холода...»	25
«Я ненавижу свет...»	25
«Образ твой, мучительный и зыбкий...»	26
«Нет, не луна, а светлый циферблат...»	26
Пешеход	26
Казино	27
«Паденье – неизменный спутник страха...»	27
Царское Село	28
Золотой	28
Лютеранин	29
Айя-София	30
Notre Dame	30
Старик	31
Петербургские строфы	32
«„Здесь я стою – я не могу иначе“...»	32
«...Дев полуночных отвага...»	33
Бах	33

«В спокойных пригородах снег...»	34
«Мы напряженного молчания не выносим...»	34
Адмиралтейство	34
«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»	35
«В таверне воровская шайка...»	35
Кинематограф	36
Теннис	37
Американка	37
«Отравлен хлеб и воздух выпит...»	38
Домби и сын	38
«От легкой жизни мы сошли с ума...»	39
«Летают Валькирии, поют смычки...»	40
«Поговорим о Риме – дивный град!..»	40
«На луне не растет...»	40
Ахматова	41
Перед войной	41
«О временах простых и грубых...»	41
«На площадь выбежав, свободен...»	42
Равноденствие	42
«„Морожено!“ Солнце. Воздушный бисквит...»	43
«Есть ценностей незыблемая скала...»	43
«Природа – тот же Рим и отразилась в нем...»	43
«Пусть имена цветущих городов...»	44
«Я не слышал рассказов Оссиана...»	44
Европа	45
Encyclysa[2]	45
Посох	46
Ода Бетховену	46
«Уничтожает пламень...»	47
Аббат	48
«От вторника и до субботы...»	48
«И поныне на Афоне...»	49
«Вот дароносица, как солнце золотое...»	49
«Обиженно уходят на холмы...»	50
«О свободе небывалой...»	50
Дворцовая площадь	51
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»	51
«С веселым ржанием пасутся табуны...»	51
Я не увижу знаменитой «Федры»	52
Tristia (1916–1920)	54
«Как этих покрывал и этого убора...»	54
Зверинец	54
«В разноголосице девического хора...»	56
«На розвальнях, уложенных соломой...»	56
«О, этот воздух, смутой пьяный...»	57
<Петрополь>	57
1	57
2	58
«Не веря воскресенья чуду...»	58

«Эта ночь непоправима...»	59
«Я потеряла нежную камею...»	59
«Собирались эллины войною...»	60
Соломинка	60
1	60
2	61
Декабрист	61
«Золотистого меда струя из бутылки текла...»	62
Меганом	63
«Среди священников левитом молодым...»	63
«Твое чудесное произношение...»	64
«Что поют часы-кузнечик...»	64
«Когда на площадях и в тишине келейной...»	65
Кассандре	65
«В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...»	66
«На страшной высоте блуждающий огонь!...»	67
«Когда в теплой ночи замирает...»	67
Сумерки свободы	68
Tristia	68
Черепаша	69
«В хрустальном омуте какая крутизна!...»	70
«Сестры тяжесть и нежность, – одинаковы ваши приметы...»	70
«Вернись в смесительное лоно...»	71
«Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...»	71
Феодосия	72
«Когда Психея-жизнь спускается к теням...»	73
Ласточка	74
«В Петербурге мы сойдемся снова...»	74
«Чуть мерцает призрачная сцена...»	75
«Мне жалко, что теперь зима...»	76
«Мне Тифлис горбатый снится...»	77
«Возьми на радость из моих ладоней...»	78
«За то, что я руки твои не сумел удержать...»	78
«Когда городская выходит на стогны луна...»	79
«Я наравне с другими...»	79
«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»	80
«Люблю под сводами седая тишины...»	81
Стихи (1921–1925)	82
Концерт на вокзале	82
«Умывался ночью на дворе...»	82
«Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»	83
«С розовой пеной усталости у мягких губ...»	83
«Холодок щекочет темя...»	84
«Как растет хлебов опара...»	84
«Я не знаю, с каких пор...»	85
«Я по лесенке приставной...»	85
«Ветер нам утешенье принес...»	86
Московский дождик	87

Век	87
Нашедший подкову	88
Так	90
Грифельная ода	91
Париж	92
А небо будущим беременно...	93
«Как тельце маленькое крылышком...»	94
1 января 1924	95
«Нет, никогда, ничей я не был современник...»	97
«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...»	97
«Сегодня ночью, не солгу...»	98
«Я буду метаться по табору улицы темной...»	99
Стихи (1930–1934)	100
«Куда как страшно нам с тобой...»	100
1	100
2	100
Армения	100
1	100
2	100
3	101
4	102
5	102
6	102
7	102
8	103
9	103
10	103
11	104
12	104
«На полицейской бумаге верже...»	104
«Не говори никому...»	104
«Колючая речь Араратской долины...»	105
«Как люб мне натугой живущий...»	105
«Дикая кошка – армянская речь...»	105
«И по-звериному воет людье...»	106
Ленинград	106
«Мы с тобой на кухне посидим...»	107
«Помоги, Господь, эту ночь прожить...»	107
«С миром державным я был лишь ребячески связан...»	107
«После полуночи сердце ворует...»	108
«Я скажу тебе с последней...»	108
«Колют ресницы. В груди прикипела слеза...»	109
«За гремучую доблесть грядущих веков...»	109
«Жил Александр Герцович...»	110
«Ночь на дворе. Барская лжа...»	111
«Нет, не спрятаться мне от великой мурь...»	111
Неправда	111
«Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня...»	112
Рояль	112

«Нет, не мигрень, но подай карандашик...»	113
«Сохрани мою речь навсегда...»	114
Канцона	114
Отрывки уничтоженных стихов	115
1	115
2	115
3	116
4	116
«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!...»	116
Фаэтонщик	117
«Как народная громада...»	118
«Сегодня можно снять декалькомани...»	118
«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»	119
«Еще далёко мне до патриарха...»	121
Ламарк	123
«Когда в далекую Корею...»	123
«О, как мы любим лицемерить...»	124
«Вы помните, как бегуны...»	125
«Увы, растаяла свеча...»	125
Импрессионизм	125
«Там, где купальни-бумагопрядильни...»	126
Батюшков	126
Стихи о русской поэзии	127
I	127
II	128
III	128
«Дайте Тютчеву стрекозу...»	129
К немецкой речи	130
Ариост	131
«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...»	132
«Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...»	132
«Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...»	133
«Квартира тиха, как бумага...»	133
«У нашей святой молодежи...»	134
«Татары, узбеки, и ненцы...»	134
«Мы живем, под собою не чуя страны...»	135
Восьмистишия	135
1	135
2	136
3	136
4	136
5	136
6	137
7	137
8	137
9	138
10	138
11	138
Из Петрарки	139

I	139
II	139
III	140
IV	140
«Как из одной высокогорной щели...»	141
«Голубые глаза и горячая лобная кость...»	141
10 января 1934	142
1	142
2	143
«Он дирижировал кавказскими горами...»	144
«А посреди толпы, задумчивый, бородатый...»	144
«Откуда привезли? Кого? Который умер?..»	144
«Мастерица виноватых взоров...»	145
«Твоим узким плечам под бичами краснеть...»	145
Воронежские тетради (1935–1937)	147
Первая тетрадь	147
«Я живу на важных огородах...»	147
«Наушнички, наушники мои!...»	147
«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»	147
«Я должен жить, хотя я дважды умер...»	148
«Это какая улица?..»	148
Чернозем	148
«Лишив меня морей, разбега и разлета...»	149
«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»	149
«Как на Каме-реке глазу темно, когда...»	149
Стансы	150
«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...»	152
«От сырой простыни говорящая...»	153
«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»	153
«Римских ночей полновесные слитки...»	154
«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»	154
«На мертвых ресницах Исаакий замерз...»	154
«За Паганини длиннопалым...»	155
«Бежит волна – волной волне хребет ломая...»	155
«Исполню дымчатый обряд...»	156
«Не мучнистой бабочкою белой...»	156
Вторая тетрадь	157
«Из-за домов, из-за лесов...»	157
Рождение улыбки	157
«Подивлюсь на свет еще немного...»	157
«Мой щегол, я голову закину...»	158
«Нынче день какой-то желторотый...»	158
«Не у меня, не у тебя – у них...»	158
«Внутри горы бездействует кумир...»	159
«Я в сердце века. Путь неясен...»	159
«А мастер пушечного цеха...»	159
«Сосновой рощицы закон...»	159
«Пластинкой тоненькой жиллета...»	160

«Ночь. Дорога. Сон первичный...»	161
«Вехи дальние обоза...»	161
«Где я? Что со мной дурного?...»	161
«Шло цепочкой в темноводье...»	162
«Когда щегол в воздушной сдобе...»	162
«Как подарок запоздалый...»	162
«Оттого все неудачи...»	163
«Твой зрачок в небесной корке...»	163
«Улыбнись, ягненок гневный – с Рафаэлева холста...»	164
«Когда в ветвях понурых...»	164
«Я около Кольцова...»	165
«Дрожжи мира дорогие...»	165
«Влез бесенок в мокрой шерстке...»	165
«Еще не умер ты. Еще ты не один...»	166
«О, этот медленный, одышливый простор!..»	166
«Что делать нам с убитостью равнин...»	167
«В лицо морозу я гляжу один...»	167
«Я нынче в паутине световой...»	167
«Как землю где-нибудь небесный камень будит...»	168
«Слышу, слышу ранний лед...»	168
«Люблю морозное дыханье...»	168
«Как женственное серебро горит...»	169
«Средь народного шума и спеха...»	169
«Куда мне деться в этом январе...»	170
«Как светотени мученик Рембрандт...»	170
«Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...»	171
«Где связанный и пригвожденный стон?...»	171
«Как дерево и медь Фаворского полет...»	171
«Обороняет сон мою донскую сонь...»	172
«Вооруженный зреньем узких ос...»	172
«Еще он помнит башмаков износ...»	173
«Пою, когда гортань сыра, душа – суха...»	173
«Были очи острее точимой косы...»	174
«Я в львиный ров и крепость погружен...»	174
«Если б меня наши враги взяли...»	174
Третья тетрадь	175
«На доске малиновой, червонной...»	175
«Я молю, как жалости и милости...»	175
«Я видел озеро, стоявшее отвесно...»	176
Стихи о неизвестном солдате	177
«Я скажу это начерно, шопотом...»	180
Тайная вечеря	180
«Заблудился я в небе – что делать?...»	181
«Заблудился я в небе – что делать?...»	181
«Может быть, это точка безумия...»	182
«Не сравнивай: живущий несравним...»	182
Рим	183
«Чтоб, приятель и ветра и капель...»	183

«Гончарами велик остров синий...»	184
«Длинной жажды должник виноватый...»	185
«О, как же я хочу...»	185
«Нереиды мои, нереиды!..»	186
«Флейты греческой тэта и йота...»	186
«Как по улицам Киева-Вия...»	187
«Я к губам подношу эту зелень...»	187
«Клейкой клятвой липнут почки...»	187
«На меня нацелилась груша да черемуха...»	188
«К пустой земле невольно припадая...»	189
Последние стихи	190
Чарли Чаплин	190
«С примесью ворона голуби...»	191
«Пароходик с петухами...»	192
«На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь...»	192
Стансы	193
Стихи, не вошедшие в основное собрание	195
Ранние стихи (1906)	195
«Среди лесов, унылых и заброшенных...»	195
«Тянется лесом дороженька пыльная...»	195
Стихотворения 1908–1937 годов	196
«О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...»	196
«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...»	197
«В морозном воздухе растаял легкий дым...»	197
«Истончается тонкий тлен...»	197
«Ты улыбаешься кому...»	198
«В просторах сумеречной залы...»	198
«В холодных переливах лир...»	199
«Озарены луной ночевья...»	199
«Твоя веселая нежность...»	199
«Не говорите мне о вечности...»	200
«На влажный камень возведенный...»	200
«В безветрии моих садов...»	201
«Бесшумное веретено...»	201
«Если утро зимнее темно...»	201
«Пустует место. Вечер длится...»	202
«В смиренномудрых высотах...»	202
«Дыханье вещее в стихах моих...»	203
«Нету иного пути...»	203
«Что музыка нежных...»	203
«На темном небе, как узор...»	204
«Сквозь восковую занавесь...»	204
«Здесь отвратительные жабы...»	205
«Слишком легким плащом одетый...»	205
«Музыка твоих шагов...»	205
«В непринужденности творящего обмена...»	206
«Листьев сочувственный шорох...»	206
«Когда мозаик никнут травы...»	206
«Под грозowymi облаками...»	207

«Единственной отрадой...»	207
«Над алтарем дымящихся зыбей...»	208
«Необходимость или разум...»	208
«Когда укор колоколов...»	209
«Мне стало страшно жизнь отжить...»	209
«Я вижу каменное небо...»	210
«Вечер нежный. Сумрак важный...»	210
«Убиты медью вечерней...»	210
«Как облаком сердце одето...»	211
Змей	211
«В самом себе, как змей, таясь...»	212
«Неумолимые слова...»	212
«Я помню берег вековой...»	213
«В изголовьи черное распятие...»	213
«Душный сумрак кроет ложе...»	214
«Темных уз земного заточенья...»	214
«Где вырывается из плена...»	215
«Медленно урна пустая...»	215
«Когда подымаю...»	215
«Душу от внешних условий...»	216
«Я знаю, что обман в видении немислим...»	216
Конец ознакомительного фрагмента.	218

Осип Мандельштам
Немногие для вечности живут...

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Стихи

Камень (1908–1915)

«Звук осторожный и глухой...»

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

«Сусальным золотом горят...»

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

«Из полутемной залы, вдруг...»

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали –
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...

1908

«Только детские книги читать...»

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

«Нежнее нежного...»

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое –
От неизбежного.

От неизбежного –
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

1909

«На бледно-голубой эмали...»

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, –

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909

«Есть целомудренные чары...»

Есть целомудренные чары –
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

1909

«Дано мне тело – что мне делать с ним...»

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлется на нем узор,

Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть –
Узора милого не зачеркнуть.

1909

«Невыразимая печаль...»

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая –
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

1909

«Ни о чем не нужно говорить...»

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Декабрь 1909

«Когда удар с ударами встречается...»

Когда удар с ударами встречается,
И надо мною роковой
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится, и грубо остановится
И упадет веретено –
И невозможно встретиться, условиться
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,
И, все быстрее и быстрее,
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей;

И вереница стройная уносится
С веселым трепетом, и вдруг –
Одумалась и прямо в сердце просится
Стрела, описывая круг.

1910

«Медлительнее снежный улей...»

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И, если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь – трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

1910

Silentium

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень

В черно-лазореваем сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910, 1935

«Слух чуткий парус напрягает...»

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

1910

«Как тень внезапных облаков...»

Как тень внезапных облаков,
Морская гостья налетела
И, проскользнув, прошелестела
Смущенных мимо берегов.

Огромный парус строго реет;
Смертельно бледная волна
Отпрянула – и вновь она
Коснуться берега не смеет;

И лодка, волнами шурша,
Как листьями, – уже далёко...

И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

1910, 1922

«Из омута злого и вязкого...»

Из омута злого и вязкого
Я вырос тростинкой, шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

1910, 1922

«В огромном омуте прозрачно и темно...»

В огромном омуте прозрачно и темно,
И томное окно белеет;
А сердце – отчего так медленно оно
И так упорно тяжелеет?

То – всею тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То – как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай,
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой.

1910

«Душный сумрак кроет ложе...»

Душный сумрак кроет ложе,

Напряженно дышит грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.

1910

«Как кони медленно ступают...»

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

1911

«Скудный луч, холодной мерою...»

Скудный луч, холодной мерою
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола,

И стоит осиротелая
И немая вышина –
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина.

Утро, нежностью бездонное –
Полуявь и полусон,
Забывье неутоленное, –
Дум туманный перезвон...

1911

«Воздух пасмурный влажен и гулок...»

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек:
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным –
Мировая туманная боль –
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.

1911, 28 августа 1935

«Сегодня дурной день...»

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень –
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь –
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг –
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок

В запретную дверь к нам...

1911

«Смутно-дышащими листьями...»

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит,
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучом.

И над лесом вечереющим
Встала медная луна;
Отчего так мало музыки
И такая тишина?

1911

«Отчего душа так певуча...»

Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвою,
И совсем не вернется – или
Он вернется совсем другой...

О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края –
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

1911

Раковина

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены –
Как нежилого сердца дом –
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

«На перламутровый челнок...»

На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О, пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок!

Приливы и отливы рук –
Однообразные движенья...
Ты заклинаешь, без сомненья,
Какой-то солнечный испуг, –

Когда широкая ладонь,
Как раковина, пламенея,
То гаснет, к теням тяготея,
То в розовый уйдет огонь!

16 ноября 1911

«О, небо, небо, ты мне будешь сниться!..»

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослеплю,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

24 ноября 1911

«Я вздрагиваю от холода...»

Я вздрагиваю от холода –
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото –
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

1912, 1937

«Я ненавижу свет...»

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред, –
Башни стрельчатый рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Будет и мой черед –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...

1912

«Образ твой, мучительный и зыбкий...»

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

Апрель 1912

«Нет, не луна, а светлый циферблат...»

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь, –
А он ответил любопытным: «вечность!»

1912

Пешеход

М. Л. Лозинскому

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю – как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выпветших листьях,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа – в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

1912

Казино

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно;
Мне, в опьянении легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, –
Люблю следить за чайкою крылатой!

Май 1912

«Паденье – неизменный спутник страха...»

Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты –
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты –
Булыжники и грубые мечты –
В них жажда смерти и тоска размаха...

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!

Немногие для вечности живут;
Но если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

1912

Царское Село

Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях – клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки – а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, –
Не сомневаюсь – это князь...

И возвращается домой –
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой –
Что возвращается домой...

1912

Золотой

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятении и тоске;

Я хочу поужинать, – и звезды
Золотые в темном кошельке!

И, дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал;
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!

Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны...
За прилавком щупает червонцы
Человек – и все они пьяны.

– Будьте так любезны, разменяйте, –
Убедительно его прошу –
Только мне бумажек не давайте –
Трехрублевok я не выношу!

Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, Боже мой?
Если я на то имею право –
Разменяйте мне мой золотой!

1912

Лютеранин

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волнение.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,

Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

1912

Айя-София

Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

Notre Dame

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план!
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра, –
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

Старик

Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлена,
Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек;
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.

Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова;
Он исповедоваться хочет –
Но согрешить сперва.

Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот –
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.

А дома – руганью крылатой,
От ярости бледна, –
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена!

1913, 1937

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке –
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба –
Онегина старинная тоска;
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка.

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход –
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Январь 1913, 1927

«„Здесь я стою – я не могу иначе“...»

Hier stehe ich – ich kann nicht anders...¹

«Здесь я стою – я не могу иначе»;
Не просветлеет темная гора –
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

¹ Здесь я стою – я не могу иначе (нем.) – слова Мартина Лютера.

1913 <1915?>

«...Дев полуночных отвага...»

...Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь – Петра создание,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

1913

Бах

Здесь прихожане – дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом, Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исая,
О, рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик –
Лишь воркотня твоя, не боле,

О, несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.

1913

«В спокойных пригородах снег...»

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И твякают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

1913

«Мы напряженного молчанья не выносим...»

Мы напряженного молчанья не выносим –
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо:
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье – суета, и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

1913, 2 января 1937

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,

И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря,
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!

Май 1913

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь Арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.

Курантов бой и тени государей:
Россия, ты, на камне и крови,
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!

12 мая 1913

«В таверне воровская шайка...»

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка;
Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки,

Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок:

Не хватит на мешки рогож –
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!

1913

Кинематограф

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне –
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется,
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:

Цель не оправдывает средства!
Ему – отцовское наследство,
А ей – пожизненная крепость!

1913

Теннис

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч –
Как волшебная приманка.

Кто, смиливший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный!

Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Май. Грозových туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Все моторы и гудки –
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

1913

Американка

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

1913

«Отравлен хлеб и воздух выпит...»

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман;

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

1913

Домби и сын

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык –
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын.
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья;
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле –
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

1913 (1914?)

«От легкой жизни мы сошли с ума...»

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи –
Когда речные тяжелеют струи
И фонари как факелы горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

Ноябрь 1913

«Летают Валькирии, поют смычки...»

Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

1914

«Поговорим о Риме – дивный град!...»

Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя –
Двунадесятых праздников кануны –
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.

На дольный мир бросает пепел бурый
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена –
О холод католической тонзуры!

1913

«На луне не растет...»

На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки –
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне – полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома –

Просто голубятни,
Голубые дома –
Чудо-голубятни...

1914

Ахматова

Вполоборота, о, печаль!
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель –
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра –
Стояла некогда Рашель.

1914

Перед войной

Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?

Или римские перуны –
Гнев народа – обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;

Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?

1914

«О временах простых и грубых...»

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят.
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,

Когда с дряхлеющей любовью
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

1914

«На площадь выбежав, свободен...»

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг –
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;

И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!

1914

Равноденствие

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурой зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

1914

«„Мороженно!“ Солнце. Воздушный бисквит...»

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы, мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть –
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманка, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка –
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914

«Есть ценностей незыблемая скала...»

Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова –
Последний луч трагической зари.

1914

«Природа – тот же Рим и отразилась в нем...»

Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде роши.

Природа – тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить –
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1914

«Пусть имена цветущих городов...»

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

1914

«Я не слышал рассказов Оссиана...»

Я не слышал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

Европа

Как средиземный краб или звезда морская
Был выброшен последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля;

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Сентябрь 1914

Encycluca²

Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым Церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma! –
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!

Сентябрь 1914

² Папское послание (лат.).

Посох

Посох мой, моя свобода –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах –
Солнцем истины палим...
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

1914, 1927

Ода Бетховену

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять:
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

Когда земля гудит от грома
И речка бурная ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке.

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить;

Кто может, ярче пламенея,
Усиле воли освятить;
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритуфель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О, Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи –
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер –
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном –
Где мы не видим ничего –
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

1914

«Уничтожает пламень...»

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо;
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

1915

Аббат

О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя –
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он с нами должен пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине,
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивой головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

1915

«От вторника и до субботы...»

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст – одна стрела.

И ласточки когда летели
В Египет водяным путем,

Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.

1915

«И поныне на Афоне...»

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

1915

«Вот дароносица, как солнце золотое...»

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

1915

«Обиженно уходят на холмы...»

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семьей холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища, и овин.

На них кустарник двинулся стеной,
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелой волной.

1915

«О свободе небывалой...»

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, –
Верность плакала в ночи, –

Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...

– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

1915

Дворцовая площадь

Императорский виссон
И моторов колесницы –
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла.

Июнь 1915

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладой когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи –
На головах царей божественная пена –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

«С веселым ржанием пасутся табуны...»

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны

Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листья,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты –
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.

Август 1915

Я не увижу знаменитой «Федры»

В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Собирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

– Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданием крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина...

Вновь шелестят ислевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;

Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

1915

Tristia (1916–1920)

«Как этих покрывал и этого убора...»

– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!
– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда...
.....
.....
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.
– О, если б ненависть в груди моей кипела, –
Но, видите, само признание с уст слетело.
– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра – ночь – тебя сторожит
Среди белого дня.
– Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала...
– Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.

1915, 1916

Зверинец

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять

Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, –
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый,
Орел и ласковый медведь –
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен –
Источник речи итальянской,
И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лён!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи:
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей.
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

Январь 1916, 1935

«В разноголосице девического хора...»

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озираю на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Февраль 1916

«На розвальнях, уложенных соломой...»

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи –
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече –
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело –
И рыжую солому подожгли.

Март 1916

«О, ЭТОТ ВОЗДУХ, СМУТОЙ ПЬЯНЫЙ...»

О, этот воздух, смутной пьяный
На черной площади Кремля!
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский – зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг,

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, –
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

Апрель 1916

<Петрополь>

1

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,

Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

2

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, –
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

Май 1916

«Не веря воскресенья чуду...»

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы...

.....
.....

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться – значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю – он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Июнь 1916

«Эта ночь непоправима...»

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее –
Баю-баюшки-баю –
В светлом храме иудей
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудей
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

1916

«Я потеряла нежную камею...»

– Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею, –
Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
Камей нет – нет римлянки, увы.
Я Тинотину смуглую жалею –
Девичий Рим на берегу Невы.

1916

«Собирались эллины войною...»

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин –
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли –
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О, Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо –
Целый лес незваных кораблей.

Декабрь 1916

Соломинка

1

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью – что может быть печальней –
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина –
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,

Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье –
Я научился вам, блаженные слова.

2

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка, быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь!

Декабрь 1916

Декабрист

– Тому свидетельство языческий сенат –
Сии дела не умирают! –
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара

Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства,
Но жертвы не хотят слепые небеса,
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

Июнь 1917

«Золотистого меда струя из бутылки текла...»

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена –
Не Елена – другая – как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

11 августа 1917, Алушта

Меганом

Еще далеко асфodelей
Прозрачно-серая весна,
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыдания,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет –
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет.
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

16 августа 1917, Алушта

«Среди священников левитом молодым...»

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.

Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: Небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи.
А старцы думали: Не наша в том вина –
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

1917

«Твое чудесное произношение...»

Твое чудесное произношение –
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатление
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленное стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоём,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

Начало 1918

«Что поют часы-кузнечик...»

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка –
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат

Жизни тоненькое дно –
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет –
Это черный шелк горит.
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.

Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

Начало 1918

«Когда на площадях и в тишине келейной...»

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга –
Чужого неба волшебство,
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.

1917

Кассандре

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминая мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома, –
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека – он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу – зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

1917

«В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...»

Du, Doppelgänger! du, bleicher Geselle!..³

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель!

Старинной песни мир – коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокошующие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращения –
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник – пустое привиденье –
Бессмысленно глядит в холодное окно!

³ О, <мой> двойник, о, <мой> бледный собрат!.. (нем.) Г. Гейне

Январь 1918

«На страшной высоте блуждающий огонь!..»

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, – воды и неба брат, –
Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!

Март 1918

«Когда в теплой ночи замирает...»

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям –

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон,
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт.

И как новый встает Геркуланум,
Спящий город в сиянии луны,
И убогого рынка лачуги,

И могучий дорический ствол!

Май 1918

Сумерки свободы

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенёт.
Восходишь ты в глухие годы –
О, солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети – сумерки густые –
Не видно солнца, и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Май 1918, Москва

Tristia

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове – расставанье,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в Акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сениях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит.
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано, гадая, умереть.

1918

Черепаша

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирики слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенок.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловых шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

1919

«В хрустальном омуте какая крутизна!...»

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, Святого Духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.

1919

«Сестры тяжесть и нежность, – одинаковы ваши приметы...»

Сестры тяжесть и нежность, – одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут,
Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети!
Легче камень поднять, чем имя твое повторить.
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

Март 1920

«Вернись в смесительное лоно...»

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия – не Елена!
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой, –
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем – и Бог с тобой.

1920

«Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...»

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло,
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи, синие прожилки,
Белый снег, зеленая парча,
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха,
Тяжелее платины Сатурново кольцо,
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка,
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка?
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает,
Все проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

1920

Феодосия

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя –
Оно пропало, больше не вернется.

А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи, у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки
И ремесло – шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.
Мужской сюртук – без головы стремление,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический уют – явление
Небесных прачек – тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1920

«Когда Психея-жизнь спускается к теням...»

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Настречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов,
Душа ведь женщина, ей нравятся безделки!

И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

Ноябрь 1920, 22 марта 1937

Ласточка

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет,
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет как бы шатер иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

Ноябрь 1920

«В Петербурге мы сойдемся снова...»

В Петербурге мы сойдемся снова,

Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» –
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож,
Заводная кукла офицера
Не для черных душ и низменных святош...
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты.
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

25 ноября 1920

«Чуть мерцает призрачная сцена...»

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Все космато – люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна.
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга», –
И живая ласточка упала
На горячие снега.

Ноябрь 1920

«Мне жалко, что теперь зима...»

Мне жалко, что теперь зима
И комаров не слышно в доме,
Но ты напомнила сама
О легкомысленной соломе.

Стрекозы выются в синеве,
И ласточкой кружится мода,
Корзиночка на голове –
Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Ты все толкуешь наобум,
От этого ничуть не хуже,

Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой,
Он побелел, он изнемог –
И все-таки еще немножко.

И, право, не твоя вина –
Зачем оценки и изнанки, –
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.

В тебе все дразнит, все поет,
Как итальянская рулада.
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,
В тебе все прихоть, все минута.
И тень от шапочки твоей –
Венецианская баута.

Декабрь 1920

«Мне Тифлис горбатый снится...»

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курюю есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, –
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить!

В самом маленьком духане
Ты обманщика найдешь.
Если спросишь «Телиани»,

Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

1920, 1927, 7 ноября 1935

«Возьми на радость из моих ладоней...»

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не перевозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок –
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Ноябрь 1920

«За то, что я руки твои не сумел удержать...»

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие древние срубы.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!
Зачем преждевременно я от тебя оторвался!
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужьям соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серую ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогах, шершавых от долгого сна, шевелится.

Ноябрь 1920

«Когда городская выходит на стогны луна...»

Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,

И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шевелит огромные спицы теней
И желтой соломой бросает на пол деревянный...

1920

«Я наравне с другими...»

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву, палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновение,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятении
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920

«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певчим именем вмешался,
Но все растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя – серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,

И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга.
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленутые туго.

1920

«Люблю под сводами седая тишины...»

Люблю под сводами седая тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин – ему же все должны, –
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе генисаретский мрак
Великопостная седмица.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирий,
Смиренник царственный – снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Весна 1921, весна 1922

Стихи (1921–1925)

Концерт на вокзале

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени;
<Горячий пар зрачки смычков слепит.>
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

1921, <1923?>

«Умывался ночью на дворе...»

Умывался ночью на дворе –
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова.
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

1921

«Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»

Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, –
И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу, –

Кому – крутая соль торжественных обид.
О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.

1922

«С розовой пеной усталости у мягких губ...»

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит – женолюб,

Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж,
Нежные руки Европы, – берите всё,
Где ты для выи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск,
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мельканье рыб, –
С нею безвесельный дальше плывет гребец.

1922

«Холодок щекочет темя...»

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, –
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Всё чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922

«Как растет хлеб опара...»

Как растет хлеб опара,
Поначалу хороша,

И беснуется от жару
Домовитая душа.

Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Поднимают купола.

Чтобы силой, или лаской
Чудный выманить припек,
Время – царственный подпасок –
Ловит слово-колобок.

И свое находит место
Черствый пасынок веков –
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.

1922

«Я не знаю, с каких пор...»

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась –
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь – разбудить.

Раскидать бы за стогом стог,
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.

1922

«Я по лесенке приставной...»

Я по лесенке приставной

Лез на включенный сеновал, –
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь,
Добрых чувств на земле пять,
Набухает, звенит темь
И растет и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, –
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна скрепясь,
А другая – в заумный сон.

1922

«Ветер нам утешенье принес...»

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

1922

Московский дождик

Он подает, куда как скупое,
Свой воробыный холодок –
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье –
Чаинок легкая возня,
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленах.

Из свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, –
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

1922

Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки,
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка

Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горящей рыбой мечет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

1922

Нашедший подкову

Глядим на лес и говорим:
– Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю, одинокими пиниями
В разъяренном безлесном воздухе.
Под соленой пятою ветра устоит отвес, пригнанный к пляшущей
палубе,

И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона

Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, сложенные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим –
Отцом путешествий, другом морехода, –
Говорим:
– И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других –
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства,

Слишком сильного одуряющего запаха –
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и всё живое в нем плавает, как рыба.
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, –
Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханый заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля:
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.

Дети играют в бабки позвонками умерших животных.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» или: «Я не дам тебе яблока».
И лицо его точный слепок с голоса, который произносит эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминанье о беге с разбросанными ногами,

Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.

Так

Нашедший подкову сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит,
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры
из кремня.
Человеческие губы, которым больше
нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли домой.
То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой
пшеницы.
Одни
на монетах изображают льва,
Другие –
голову.
Разнообразные
Медные, золотые и бронзовые лепешки

С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть,

Оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уже не хватает меня самого...

1923

Грифельная ода

*Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось...*

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок –
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,
И все-таки еще гряда –
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время –
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень, возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья

И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует:
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот –
Изнанка образов зеленых –
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет по мне –
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве!

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык –
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923, 1927

Париж

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские – событий попрошайки,

Парижских воробьев испуганные стайки –
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох...
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома – зубов молочных ряд
На деснах старческих – как близнецы стоят.

Здесь клички месяцам давали, как котят,
И молоко и кровь давали нежным львят,
А подрастут они – то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые – там руки поднимали
И клятвой на песке, как яблоком, играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И как ребенок всем показывал занозу,
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!

1923

А небо будущим беременно...

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение, –
С алгебраических пирушек
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню ночь, рассадник вражеский
Существ коротких ластоногих,
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно –
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбища лета обходили,

Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.

Давайте все покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих, –
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластиногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,
Как чешуя многоочитое,
И альфа и омега бури;
Тебе – чужое и безбровое,
Из поколения в поколение, –
Всегда высокое и новое
Передается удивление.

1923

«Как тельце маленькое крылышком...»

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось,

И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пенем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

Не забывай меня: казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним – пойми меня –
В беременной глубокой сини.

1923

1 января 1924

Кто время целовал в измученное темя –
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших, –
Он слышит вечно шум – когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать,
И с известью в крови для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.

Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь, –
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я принимаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».

Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед.
Всё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш –
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина –
Лишь тень сонат могучих тех.

1924, 1937

«Нет, никогда, ничей я не был современник...»

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник –
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, –
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом –
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем!

1924

«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...»

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И торчат, как шуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.
А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар!

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой:
Электрической мельницей смолот мокро золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!
И приемные с роялями, где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив».

После бани, после оперы, – все равно, куда ни шло.
Бестолковое последнее трамвайное тепло!

1924

«Сегодня ночью, не солгу...»

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу – изба, вошел в сенцы:
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...

У изголовья, вновь и вновь,
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок:
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба – еж брюхатый;
Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,

Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

1925

«Я буду метаться по табору улицы темной...»

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом.

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой;
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной розовой коже...

Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били в разрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету, что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной,
И некому молвить: «Из табора улицы темной...»

1925

Стихи (1930–1934)

«Куда как страшно нам с тобой...»

1

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом –
Да, видно, нельзя никак...

Октябрь 1930

2

Как бык шестикрылый и грозный
Здесь людям является труд,
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.

Октябрь 1930

Армения

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюда с водой.

2

Ты красок себе пожелала –
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба...

3

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик да хриплая охра.
И почему-то мне начало утро армянское снится,
Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый,
Улиц твоих большепотых кривые люблю вавилоны.
Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Всё утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых Востока –
И вот лежишь на москательном ложе,
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний,
Смело, до хруста, ее погрузи...
Добудем розу без ножниц!
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу –
Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновъ –
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство –
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая –
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая –
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая –
Армения, Армения!

7

Не развалины – нет! – но порубка могучего
циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного
и басенного христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях – как товар
из языческой разграбленной лавки,

Виноградины с голубиное яйцо,
завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще
не оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:
На Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани,
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить,
Чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

9

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.

А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и бога,
Каждому воздавши половину.

10

Какая роскошь в нищенском селеньи
Волосная музыка воды!
Что это? Пряжа? Звук? Предупрежденье?
Чур-чур меня! Далёко ль до беды!

И в лабиринте влажного распева

Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

11

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну, прищурясь,
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

12

Лазурь да глина, глина да лазурь.
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым, –
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

16 октября – 5 ноября 1930

«На полицейской бумаге верже...»

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей.
Звезды живут – канцелярские птички, –
Пишут и пишут свои раппортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать –
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешение.

Октябрь 1930

«Не говори никому...»

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь –

Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь...

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не собирал.

Октябрь 1930

«Колочая речь Араратской долины...»

Колочая речь Араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо –
Слепорожденная бирюза –
Всё не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930

«Как люб мне натугой живущий...»

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо –
Все звуки ему хороши,
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши!

Октябрь 1930

«Дикая кошка – армянская речь...»

Дикая кошка – армянская речь

Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь –
О, лихорадка, о, злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник – лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей.
Командированный – мать твою так! –
Без подорожной в армянские степи.

Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху ни духу,
Старый повыходчик, награвив денег,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое: «Ба!
Ты ли, дружище?» Какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людье,
И суждено – по какому разряду? –
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Ноябрь 1930

«И по-звериному воет людье...»

И по-звериному воет людье,
И по-людски куролесит зверье...
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной, –
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

Ноябрь 1930

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

«Мы с тобой на кухне посидим...»

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери –
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

«Помоги, Господь, эту ночь прожить...»

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за твою рабу...
В Петербурге жить – словно спать в гробу.

Январь 1931

«С миром державным я был лишь ребячески связан...»

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлюбя –
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись,
в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейнок
нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

Январь 1931

«После полуночи сердце ворует...»

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет – хорошо озорует,
Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь...

Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь...
Не потому ль, как подкидыш, дрожишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

Март 1931

«Я скажу тебе с последней...»

Я скажу тебе с последней
Прямотой:

Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне – соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,
Всё равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

2 марта 1931

«Колют ресницы. В груди прикипела слеза...»

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет, и будет – гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

2 марта 1931

«За гремучую доблесть грядущих веков...»

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей –
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей –
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, –

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17–18 марта 1931, конец 1935

«Жил Александр Герцович...»

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, –
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит –

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Всё, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Все равно!

27 марта 1931

«Ночь на дворе. Барская лжа...»

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав –
И да хранит тебя Бог!

Март 1931

«Нет, не спрятаться мне от великой мур...»

Нет, не спрятаться мне от великой мур
За извозчичью спину Москвы.
Я – трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает, грозит из угла –
«Ты как хочешь, а я не рискну!» –
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Апрель 1931

Неправда

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу –
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

– Захочу, – говорит, – дам еще.
Ну а я не дышу, сам не рад...
Шасть к порогу. Куда там! В плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
Полуспаленка – полутюрьма.
– Ничего, хороша, хороша:
Я и сам ведь такой же, кума...

4 апреля 1931

«Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня...»

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,
За музыку сосен савойских,
Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса
и масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны,
за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.
Я пью, но еще не придумал –
из двух выбираю одно –
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

11 апреля 1931

Рояль

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал,
Не идет Гора на Жиронду
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

– Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюрнбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931

«Нет, не мигрень, но подай карандашик...»

– Нет, не мигрень, но подай карандашик
ментоловый, –
Ни поволоки искусства, ни красок
пространства веселого!
Жизнь начиналась в корыте картавою
мокрою шёпотью,
И продолжалась она керосиновой
мягкою копотью.
Где-то на даче потом в лесном переплете
шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным
пожаром сиреневым...

– Нет, не мигрень, но подай карандашик
ментоловый, –
Ни поволоки искусства, ни красок
пространства веселого!

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь,
мучительно вижу я:
Небо как палица грозное, земля словно
плешина рыжая...

Дальше – еще не припомню – и дальше
как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется,
тухлую ворванью...

– Нет, не мигрень, – но холод пространства
бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот
гитары карболовой!

23 апреля 1931

«Сохрани мою речь навсегда...»

Сохрани мою речь навсегда
за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья,
за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть
черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью
плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник
мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец
в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти
мерзлые плахи –
Как, прицелясь насмерть, городки
зашибают в саду, –
Я за это всю жизнь прохожу хоть
в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

3 мая 1931

Канцона

Неужели я увижу завтра –
Слева сердце бьется – слава, бейся! –

Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса?

Там зрачок профессорский орлиный, –
Египтологи и нумизматы –
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла –
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса –
Дорогой подарок царь-Давида,
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколосья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщической силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой – зависть, в красной – нетерпенье.

26 мая 1931

Отрывки уничтоженных стихов

1

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Захочешь пить – там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

2

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дорогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!

Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
Больше светотени!
Еще, еще! Сетчатка голодна!

4

Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

6 июня 1931

«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!...»

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить

На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый

Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.
Я постепенно скорость разовую –
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

Фаэтонщик

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали –
Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм, –
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо» –
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.

Под кожаную маску
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы –
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

Июнь 1931

«Как народная громада...»

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленную армадой
Ровно в голову плывет:

Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними – кораблями –
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

12 июня 1931

«Сегодня можно снять декалькомани...»

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...

А в недорослях кто? Иван Великий –
Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! стыдно!

Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город –
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слышали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно! Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскачу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду...

Мне с каждым днем дышать всё тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.

И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда – она сегодня в няньках,
Всё мечется – на сорок тысяч люлек
Она одна – и пряжа на руках...

25 июня – август 1931

«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы
в чоботах узких, железных,
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.

Нет на Москву и ночью угомону,

Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь: где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели – Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки
в подоле бьются длинным,
Где арестованный медведь гуляет –
Самой природы вечный меньшевик,
И пахло до отказа лавровишней!..
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно-скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь
их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины,
ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным,
когда я умру.

Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна!

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,

Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Я говорю с эпохой, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется – и в цинковую ванну, –
Изобрази еще нам, Марь Иванна!
Пусть это оскорбительно – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает –
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И, словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской,
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты...

Май – 4 июня 1932

«Еще далёко мне до патриарха...»

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, –
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «Дзенькуе, пани!»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Всё думаешь: к чему бы приохотиться

Посреди хлопущек и шутих;
Перекипишь – а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица –
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбках подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут – лопаткой из ведерка –
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пушусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.

Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь –
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыгаться –
Разговориться – выговорить правду –
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, –
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, –
Сказать ему, – нам по пути с тобой...

Май – 19 сентября 1931

Ламарк

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

7–9 мая 1932

«Когда в далекую Корею...»

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убегал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.

Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,
Была пора Тараса Бульбы
И наступающей грозы.

Самоуправство, своеволие,
Поход троянского коня,
А над пленницей посольство
Эфира, солнца и огня.

Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница на дворе,
И Петропавловску-Цусиме –
«Ура» на дровяной горе...

К царевичу младому Хлору –
И – Господи, благослови! –
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли.

Я пережил того подростка,
И широка моя стезя,
Другие сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

11–13 мая 1932, 1935

«О, как мы любим лицемерить...»

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод –
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

Февраль – 14 мая 1932

«Вы помните, как бегуны...»

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый,
И всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Май 1932 – сентябрь 1935

«Увы, растаяла свеча...»

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятиях:
Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

22 мая 1932

Импрессионизм

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту;

Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень – всё лиловей!
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

«Там, где купальни-бумагопрядильни...»

С.А. Клычкову

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы,

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Май 1932

Батюшков

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,

Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы...
И никогда – этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

18 июня 1932

Стихи о русской поэзии

I

Сядь, Державин, развалился,
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом –
Что ему до наших бед? –
И глотками по раскатам

Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет городом, потоком,
Нет – жасмином, нет – укропом,
Нет – дубовою корой.

II

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо-поката
Кажется земля – пока,
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

III

С.А. Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена – перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий,

В желудевых шапках все,
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

И еще грибы-волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг поднимутся с опушки
Так – немного погода...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды,
Кто кого? Пошел развал...

И деревья – брат на брата –
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

3–7 июля 1932

«Дайте Тютчеву стрекозу...»

Дайте Тютчеву стрекозу –
Догадайтесь почему.
Веневитинову – розу,
Ну а перстень – никому.

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов – мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

Май 1932

К немецкой речи

Б.С. Кузину

*Freund! Versäume nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!
Ewald Christian Kleist⁴*

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны розы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб – ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,

⁴ Друг! Не упusti (в суete) самое жизнь. // Ибо годы летят // И сок винограда // Недолго еще будет нас горячить! Эвальд Христиан Клейст (нем.)

И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружкой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8–12 августа 1932

Ариост

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет – туда-сюда, не зная сам, как быть, –
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад – пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще – тебя нам слишком мало.
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души –
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится всё лучше, всё хитрее
И улыбается в крылатое окно –

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг,
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет –
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше Черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...

4–6 мая 1933

«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...»

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!

О, как мучительно дается чужого клекота почет:
За незаконные восторги лихая плата стережет!

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

Май 1933

«Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...»

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг –
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!

Май 1933, август 1933

«Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...»

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Лето 1933

«Квартира тиха, как бумага...»

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей,

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать –
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

«У нашей святой молодежи...»

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:
На баюшки-баю похожи,
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

Ноябрь 1933

«Татары, узбеки, и ненцы...»

Татары, узбеки, и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

Ноябрь 1933

«Мы живем, под собою не чуя страны...»

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

Восьмистишия

1

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок –
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933, июль 1935

2

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933 – январь 1934

3

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся –
Жизняночка и умирашка,
Такая большая – сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь!

Ноябрь 1933 – январь 1934

4

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка –
И на нее немедленно ответь...

Май 1932 – февраль 1934

5

Преодолев затверженность природы,

Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из груди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, –
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.

Январь – февраль 1934

6

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,

И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933 – январь 1934

7

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Ноябрь 1933 – январь 1934

8

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.

Бывают мечети живые –

И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933 – январь 1934

9

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер?

– Меня не касается трепет
Его иудейских забот –
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933 – январь 1934

10

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.

И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит –
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, июль 1935

11

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей –
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933 – июль 1935

Из Петрарки

I

Valle che de'lamenti miei se' piena...
*Petrarca*⁵

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;

Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ишу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Декабрь 1933 – январь 1934

II

Quel rosignuol, che si soave piagne...
*Petrarca*⁶

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких, ночью синей,
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне, –
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!

О, радужная оболочка страха! –

⁵ Долина, что жалобами моими полна... Петрарка (итал.).

⁶ Тот соловей, что так нежно оплакивает... Петрарка (итал.).

Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха –

Исполнилось твоё желание, пряжа,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

Декабрь 1933 – январь 1934

III

*Or che'l ciel et la terra e'l vento tace...
Petrarca⁷*

Когда уснет земля и жар отпышет,
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет, –

Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,
В неудержимой близости всё та же:
Целую ночь, целую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужестока, полусладка. Ужели
Одна и та же милая двулична?

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле,
И воскресаю так же сверхобычно.

Декабрь 1933 – январь 1934

IV

*I di miei piu leggier' che nessun cervo...
Petrarca⁸*

Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений

⁷ Когда небо, и земля, и ветер умолкают... Петрарка (итал.).

⁸ Дни мои легче любого оленя... Петрарка (итал.).

Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жметя. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

Но то, что в ней едва существовало, –
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмурия, –
Как хороша – к какой толпе пристала –
Как там клубится легких складок буря...

4–8 января 1934

«Как из одной высокогорной щели...»

Как из одной высокогорной щели
Течет вода – на вкус разноречива –
Полужестка, полусладка, двулична, –

Так, чтобы умереть на самом деле,
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вдоха и сознания цели...

«Голубые глаза и горячая лобная кость...»

Голубые глаза и горячая лобная кость –
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок, на Москве заводил кавардак гоголек, –
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец.

Конькобежец и первенец, веком гонимый вшаей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.
Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей?
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь –
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямаясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте...

10–11 января 1934

10 января 1934

1

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна.

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей, –

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой, –
Морозный пух в железной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой?

Ему пространств инакомерных норы,
Их, близких, их, союзных, голоса,
Их, внутренних, ристалищные споры
Представились в полвека, в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради –
Лиясь для мышц и бьющихся висков, –

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот –
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенести на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И, созревающий, и тянущийся весь, –
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь!..

16 января 1934

2

Когда душе и тóропкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука – первенца в блистательном собрании,
Что льется внутрь – в продольный лес смычка –

И льется вспять, еще лентясь и мерясь
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна, –

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Январь 1934

«Он дирижировал кавказскими горами...»

Он дирижировал кавказскими горами
И машучи ступал на тесных Альп тропы,
И, озираючись, пустынными берегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венки.

Январь 1934

«А посреди толпы, задумчивый, брадатый...»

А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравёр – друг меднохвойных досок,
Трёхъярой окисью облитых в лоск покатым,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах,
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин!

Январь 1934

«Откуда привезли? Кого? Который умер?...»

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где < >⁹? Мне что-то невдомек.
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти – почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.

⁹ Часть текста утрачена.

<.....>¹⁰ напутал и уснул.

«Мастерица виноватых взоров...»

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, – гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить – уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

13–14 февраля 1934

«Твоим узким плечам под бичами краснеть...»

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

¹⁰ Часть текста утрачена.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

1934

Воронежские тетради (1935–1937)

Первая тетрадь

«Я живу на важных огородах...»

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных изыблах огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится –
Только смерть да лавочка близка.

Апрель 1935

«Наушнички, наушники мои!...»

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночи:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро?... Молчи, в себе тай...
Не спрашивай, как набухают почки...
И вы, часов кремлевские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки...

Апрель 1935

«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож...

Апрель 1935

«Я должен жить, хотя я дважды умер...»

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...

Апрель 1935

«Это какая улица?...»

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Апрель 1935

Чернозем

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, –
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа –
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, –
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним заябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

«Лишив меня морей, разбега и разлета...»

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета –
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Май 1935

«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

«Как на Каме-реке глазу темно, когда...»

I

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла –
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,

С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

II

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Чернолюдем велик, мелколесьем сожжен
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.

На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная верста поднялась в высоту.

III

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буюк.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Апрель – май 1935

Стансы

1

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,

Я в мир вхожу – и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки –
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покрое,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

2

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

3

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, –
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки –
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

4

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока...

5

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла...

6

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

7

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружие,
Сухая влажность черноземных га!

Май – июнь 1935

«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...»

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, – слитен,
чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черנוверхая масса –
Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в ножах –

Глаз превращался в хвойное мясо.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов –
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой –
За бревенчатым тылом, на ленте простынной

Утонуть и вскочить на коня своего.

Апрель – май 1935

«От сырой простыни говорящая...»

От сырой простыни говорящая –
Знать, нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последней выточки –
На равнины зияющий пах...

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла...

Измеряй меня, край, перекраивай –
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева –
Помоги, развяжи, раздели!..

<Апрель> – июнь 1935

«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых лапчатых материй
Китайчатые платица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пижут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

24 мая 1935

«Римских ночей полновесные слитки...»

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно –
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935

«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчуждении и в силе –
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле...

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935, 14 декабря 1936

«На мертвых ресницах Исаакий замерз...»

На мертвых ресницах Исаакий замерз,
И барские улицы сини –
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник пожар –
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – меблированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц – разлад и туман,

Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман –
Движенье, движенье, движенье...

3 июня 1935

«За Паганини длиннопалым...»

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой –
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –

Вертлявой, в дирижерских фракках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты – четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!

5 апреля – июль 1935

«Бежит волна – волной волне хребет ломая...»

Бежит волна – волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,

А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.

«Исполню дымчатый обряд...»

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники –
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат,

Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935

«Не мучнистой бабочкою белой...»

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну –
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки, –
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий –
Карих то зрачков иль голубых –
Шли нестройно – люди, люди, люди, –
Кто же будет продолжать за них?

Весна – лето 1935, 30 мая 1936

Вторая тетрадь

«Из-за домов, из-за лесов...»

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов –
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко,
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко, –
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

6–9 декабря 1936

Рождение улыбки

Когда заулыбается дитя
С развилкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо:
Углами губ оно играет в славе –
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.

На лапы из воды поднялся материк –
Улитки рта наплыв и приближенье –
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

8 декабря 1936 – 17 января 1937

«Подивлюсь на свет еще немного...»

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

«Мой щегол, я голову закину...»

Мой щегол, я голову закину –
Поглядим на мир вдвоем:

Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобьи –
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит – в обе! –
Не посмотрит – улетел!

9–27 декабря 1936

«Нынче день какой-то желторотый...»

Нынче день какой-то желторотый –
Не могу его понять,
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня...

Тихий, тихий по воде линиялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней...

9–28 декабря 1936

«Не у меня, не у тебя – у них...»

Не у меня, не у тебя – у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.

Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, –
И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,

Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их – в приливах и отливах.

9–27 декабря 1936

«Внутри горы бездействует кумир...»

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человеческий...

«Я в сердце века. Путь неясен...»

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель –
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

14 декабря 1936

«А мастер пушечного цеха...»

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: ничего, отец, –
Уж мы сошьем тебе такое...

Декабрь 1936

«Сосновой рощицы закон...»

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.

Стволы извилисты и голы,
Но всё же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил;
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневая.

16–18 декабря 1936

«Пластинкой тоненькой жиллета...»

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять –
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины –
Честь Рюисдалевых картин,
И на почин – лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит навверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.
Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,

Его дорог степной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

15–27 декабря 1936

«Ночь. Дорога. Сон первичный...»

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов
Или Цны – реки обычной –
Белый, белый бел-покров?

Или я в полях совхозных –
Воздух в рот и жизнь берет
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома,
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...

Анна, Россошь и Гремяче –
Процветут их имена –
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..

23–27 декабря 1936

«Вехи дальние обоза...»

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка,
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес – еловый?
Не еловый, а лиловый, –
И какая там береза,
Не скажу наверняка –
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

26 декабря 1936

«Где я? Что со мной дурного?..»

Где я? Что со мной дурного?

Степь беззимняя гола...
Это мачеха Кольцова...
Шутишь – родина щегла!
Только города немного
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор,
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков...

23–25 декабря 1936

«Шло цепочкой в темноводье...»

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро.

Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло...
Смотришь: небо стало выше –
Новоселье, дом и крыша –
И на улице светло!

26 декабря 1936

«Когда щегол в воздушной сдобе...»

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц –
И всё на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц.

Декабрь 1936

«Как подарок запоздалый...»

Как подарок запоздалый

Ощутима мной зима –
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел, –
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильнее всего непрочно –
Выпуклых голубизна –
Полукруглый лед височный
Речек, баюющих без сна...

29–30 декабря 1936

«Оттого все неудачи...»

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий –
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кашей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей –
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры –
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих –
Шароватых искр пиры...

29–30 декабря 1936

«Твой зрачок в небесной корке...»

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране,
Омут ока удивленный, –
Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
В мимолетные века –
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

2 января 1937

«Улыбнись, ягненок гневный – с Рафаэлева холста...»

Улыбнись, ягненок гневный – с Рафаэлева холста, –
На холсте уста вселенной, но она уже не та...

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль –
В синий, синий цвет синели океана въелась соль...

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале черствее хлеба – молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

«Когда в ветвях понурых...»

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей, –

Не хочет петь линючий,
Ленивый богатырь –
И малый, и могучий
Зимующий снегирь, –

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей...

9 января 1937

«Я около Кольцова...»

Я около Кольцова
Как сокол закольцован –
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник, без указа,
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки –
И всё идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки –
Как бы слепых везут...

9 января 1937

«Дрожжи мира дорогие...»

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды –
Ударенья дождевые
Закипающей беды,
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, –
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом –
И слепой, и поводырь...

12–18 января 1937

«Влез бесенок в мокрой шерстке...»

Влез бесенок в мокрой шерстке –
Ну, куды ему, куды? –
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы –
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы...

Брызжет в зеркальцах дорога –
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брюзжит отлого:
Улеглось – и полбеда!

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось –
По нему прошло другое,
Надсмеялось, сбило ось...

12–18 января 1937

«Еще не умер ты. Еще ты не один...»

Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и выюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

15–16 января 1937

«О, этот медленный, одышливый простор!...»

О, этот медленный, одышливый простор!
Я им пресыщен до отказа, –
И отдышавшийся распахнут кругозор –
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался – на век, на миг один –
Стремнин осадистых завистник,
Я б слушал под корой текучих древесин

Ход кольцеванья волокнистый...

16 января 1937

«Что делать нам с убитостью равнин...»

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим –
И всё растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, –
Пространств несозданных Иуда?

«В лицо морозу я гляжу один...»

В лицо морозу я гляжу один:
Он – никуда, я – ниоткуда,
И всё утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете –
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса – почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

«Я нынче в паутине световой...»

Я нынче в паутине световой –
Черноволосой, светло-русой, –
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою, каштановой волной –
Его звучаньем – умывался...

19 января 1937

«Как землю где-нибудь небесный камень будит...»

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца:
Неумолимое – находка для творца,
Не может быть другим, никто его не судит.

20 января 1937

«Слышу, слышу ранний лед...»

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,
Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,
И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

21–22 января 1937

«Люблю морозное дыхание...»

Люблю морозное дыхание
И пара зимнего признание:
Я – это я; явь – это явь...

И мальчик, красный, как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я – в размолвке с миром, с волей –
Заразе саночек мирволю –
В серебристых скобках, в бахромах –

И век бы падал векши легче
И легче векши к мягкой речке –
Полнеба в валенках, в ногах...

24 января 1937

«Как женственное серебро горит...»

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнотворца голос.

Начало 1937

«Средь народного шума и спеха...»

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях,
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки –
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чашах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы –

Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке...

И к нему – в его сердцевину –
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937

«Куда мне деться в этом январе...»

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков и крепок...

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы –
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке, –

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

1 февраля

«Как светотени мученик Рембрандт...»

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,

И мастер, и отец черно-зеленой теми, –
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937

«Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...»

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен, –
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг – горька морей трава,
Ложноволосая, – и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край – вот все мои права,
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

4 февраля 1937

«Где связанный и пригвожденный стон?..»

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей – скалы подспорье и пособие?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлюбья?

Тому не быть – трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы –
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он вежа, – нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех –
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января – 4 февраля 1937

«Как дерево и медь Фаворского полет...»

Как дерево и медь Фаворского полет –
В дощатом воздухе мы с временем соседи,

И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.
И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

11 февраля 1937

«Обороняет сон мою донскую сонь...»

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры –
Их быстроходная, взволнованная бронь,
И любопытные ковры людского говора...

И в бой меня ведут понятные слова –
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова –
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, –
И хор поет с часами рука об руку.

<18 января> – 11 февраля 1937

«Вооруженный зреньем узких ос...»

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и все...

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю

Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937

«Еще он помнит башмаков износ...»

Еще он помнит башмаков износ –
Моих подметок стертое величье,
А я – его: как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон – наклон – подкова – конь – балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, –
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

7–11 февраля 1937

«Пою, когда гортань сыра, душа – суха...»

Пою, когда гортань сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется, без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыханье,
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха, –
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха...

8 февраля 1937

«Были очи острее точимой косы...»

Были очи острее точимой косы –
По зегзице в зенице и по капле росы, –
И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

9 февраля 1937

«Я в львиный ров и крепость погружен...»

Я в львиный ров и крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов –
До заповедей рода, и в первины –
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины...

Карающего пеня материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего – праматери – мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

«Если б меня наши враги взяли...»

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит,
Если б меня смели держать зверем, –
Пищу мою на пол кидать стали б –
Я не смолчу, не заглушу боли,

Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом –
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И – в легион братских очей сжатый
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы –
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

<Первые числа> февраля – начало марта 1937

Третья тетрадь

«На доске малиновой, червонной...»

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной –
Втридорога снегом напоенный
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженный,
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая
Карличья в ушастых шапках стая, –
И, меня сравнением не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая...

6 марта 1937

«Я молю, как жалости и милости...»

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых...

В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет – денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! –
Свищет песенка – насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли –

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,

Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, –

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3 марта 1937

«Я видел озеро, стоявшее отвесно...»

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги – недруги других нескрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг, –

И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

Стихи о неизвестном солдате

1

Этот воздух пусть будет свидетелем –
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна – вещество...

До чего эти звезды изветливы –
Всё им нужно глядеть – для чего? –
В осуждение судьбы и свидетеля,
В океан без окна – вещество...

Помнит дождь – неприветливый сеятель –
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать, –
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать,

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

2

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры –
Золотые убийства жиры...

3

Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молю нолей:

И за полем полей – поле новое
Треугольным летит журавлем –
Весть летит светопыльной обною,
И от битвы давнишней светло.

Весть летит светопыльной обною:
– Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва народов, я новое,
От меня будет свету светло...

4

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей –
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте:
Доброй ночи! Всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное –
Небо крупных оптовых смертей –
За тобой, от тебя – целокупное,
Я губами несусь в темноте, –

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных – пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

5

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,

И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка –
Эй, товарищество – шар земной!

6

Для того ль должен череп развиваться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится – сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец...

7

Ясность ясеновая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.

И, сознание свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?
Чуешь, мачеха звездного табора –
Ночь, что будет сейчас и потом?

8

Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом...
– Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом –
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января – в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.

1–15 марта 1937

«Я скажу это начерно, шопотом...»

Я скажу это начерно, шопотом –
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937

Тайная вечеря

Небо вечера в стену влюбилось –
Всё изрублено светом рубцов, –
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно – мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю –

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны –
Неоконченной вечности мгла...

9 марта 1937

«Заблудился я в небе – что делать?..»

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответ...
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать – и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и глубже и выше
Отклик неба в остывшую грудь.

9–19 марта 1937

«Заблудился я в небе – что делать?..»

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответ!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задышаться, чернеть, голубеть...

Если я не вчерашний, не зряшный –
Ты, который стоишь надо мной, –
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здоровье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной...

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы –
Лед весенний, лед высший, лед вешний –
Облака, обаянья борцы, –
Тише: тучу ведут под уздцы!

9–19 марта 1937

«Может быть, это точка безумия...»

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия...

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,

Только здесь – на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...

15 марта 1937

«Не сравнивай: живущий несравним...»

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я согласился с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий...

Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят –
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, –

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, –

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, –
Превратили в убийства питомник
Вы – коричневой крови наемники –
Италийские чернорубашечники –
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель-Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек, –
Чтоб звучали шаги как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.
Ямы Форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода –
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

«Чтоб, приятель и ветра и капель...»

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного праха истец.

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи
Мир, который как череп глубокий, –

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть –
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть...

18 марта 1937

«Гончарами велик остров синий...»

Гончарами велик остров синий –
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь подземных
Плавников могучий удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеной власть
Раскололась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текущей богини
Воскорми обожженный сосуд...

Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоровливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба – случайность,
И вода, говорящая «да».

<21 марта> 1937

«Длинной жажды должник виноватый...»

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды:
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клянутся и злятся,
Что беда на твоём ободу
Черно-красном – и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937

«О, как же я хочу...»

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись –
Другого счастья нет –
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
Что только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу...

23 марта – начало мая 1937

«Нереиды мои, нереиды!..»

Нереиды мои, нереиды!
Вам рыдания – еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

Март 1937

«Флейты греческой тэта и йота...»

Флейты греческой тэта и йота –
Словно ей не хватало молвы, –
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы...

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять...

А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глины...

Звонким шопотом честолюбивых,
Вспоминающих шопотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки – опрытен и скуп.

Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем –
Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любы –
И убийство на том же корню –
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню.

7 апреля 1937

«Как по улицам Киева-Вия...»

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще – разумеете...»

Апрель 1937

«Я к губам подношу эту зелень...»

Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочную выдумкой пар.

30 апреля 1937

«Клейкой клятвой липнут почки...»

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась –
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

– Подожди, – шепнула внятно

Неба половина,
И ответил шелест скатный:
– Мне бы только сына...

Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...

Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.

Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже, –
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
– Вы, грома́, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса – крики пташьи:
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
– Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!

2 мая 1937

«На меня нацелилась груша да черемуха...»

На меня нацелилась груша да черемуха –
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.
Кисти вместе с звездами, звезды вместе
с кистями, –
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?
С цвету ли, с размаха ли – бьет
воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.

4 мая 1937

«К пустой земле невольно припадая...»

I

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта внешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье...
Что было – поступь – станет недоступно...
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И всё, что будет, – только обещанье.

4 мая 1937

Последние стихи

Чарли Чаплин

Чарли Чаплин
вышел из кино,
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил
И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин –
заячья губа,
Две подметки –
жалкая судьба.
Как-то мы живем
неладно все –
чужие,
чужие...

Оловянный
ужас на лице,
Голова не
держится совсем.
Ходит сажа,
вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
«Для чего я
славен и любим
и даже
знаменит», –
И ведет его
шоссе большое
к чужим,
чужим.

Чарли Чаплин,
нажимай педаль,
Чаплин, кролик,
пробивайся в роль.
Чисть корольки,
ролики надень,
А жена твоя –
слепая тень, –

И чудит, чудит
чужая даль
Отчего
у Чаплина тюльпан,
Почему
так ласкова толпа?
Потому
что это ведь Москва!
Чарли, Чарли,
надо рисковать,
Ты совсем
не вовремя раскис,
Котелок твой –
тот же океан,
А Москва
так близко, хоть влюбись
В дорогую
дорогу.

Май (?) 1937

«С примесью ворона голуби...»

С примесью ворона голуби,
Завороненные волосы –
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе с голоса,
Как я люблю твои волосы,
Душные, черно-голубые.

В губы горячие вложено
Всё, чем Москва омоложена,
Чем, молодая, расширена,
Чем, мировая, встревожена,
Грозная, утихомирена...

Тени лица восхитительны –
Синие, черные, белые,
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые.
В пальцах тепло не мгновенное –
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное...

Мчится, летит, с нами едучи,
Сам ноготок холодеющий,
Мчится, о будущем зная,

Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.

Начало июня 1937

«Пароходик с петухами...»

Пароходик с петухами
По небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.

И звенит будильник сонный,
Хочешь, повтори:
«Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы...»

И, паяльных звуков море
В перебои взяв,
Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.

Только на крапивах пыльных,
Вот чего боюсь,
Не изволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

3 июля 1937

«На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь...»

На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь – грянь и двинь, –
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Как досталась – Расскажи, Расскажи –
Красота такая галочья,
От индийского раджи, от раджи –
Алексею что ль Михайлычу, –
Волга, вызнай и скажи.

Против друга – за грехи, за грехи –
Берега стоят неровные,
И летают за верхи, за верхи
Ястреба тяжелокровные –
За коньковых изб верхи –

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные,
Косит ливень луг в дугу.

4 июля 1937

Стансы

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, вращать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину – не сказка,
Но только – жизнь без укоризн:
Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.

Москва повторится в Париже,
Дозреют новые плоды,
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды,

О том, как вырвалось однажды:
«Я не отдам его!» – и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним,

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

И ты прорвешься, может статья,
Сквозь чашу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен...

Но это ощущение сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках, –

Да, мне понятно превосходство
И сила женщины – ее
Сознание, нежность и сиротство
К событиям рвутся – в бытие.

Она и шутит величаво,
И говорит, прощая боль,
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль.

И материнская забота
Ее понятна мне – о том,
Чтоб ширилась моя работа
И крепла – на борьбу с врагом.

4–5 июля 1937

Стихи, не вошедшие в основное собрание

Ранние стихи (1906)

«Среди лесов, унылых и заброшенных...»

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Мы ждем гостей!

Пусть гниют колосья перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам, честные и смелые,
Своих голов!

Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!

Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
Ни детский плач!..

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Своих детей!

«Тянется лесом дороженька пыльная...»

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплавав слезы обильные,
Спит и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

Вот задрожали березы плакучие
И встрепонулись вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...

С гордой осанкою, с лицами сытыми...
Ноги торчат в стремях.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.

Нет им конца. Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят...

Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадуют вас новоселием,
Хлебом и солью, крестьянским изделием...
Крепче нажать стремя!

Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!

Стихотворения 1908–1937 годов

«О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...»

О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь – Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
И песчаная отмель – добыча вечернего вала –
Как невеста белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы,
И на дно опускались, и тихое дно зажигали,
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце и первые звезды мигали, –
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
И не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

<Около 19 апреля 1908, Париж>

«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...»

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный –
Невидимый, замороженный лес,
Где носится какой-то шорох смутный,
Как дивный шелест шелковых завес.

В безумных встречах и туманных спорах
На перекрестке удивленных глаз
Невидимый и непонятный шорох
Под пеплом вспыхнул и уже погас.

И как туманом одевает лица,
И слово замирает на устах,
И кажется – испуганная птица
Метнулась в вечеряющих кустах.

1908 (1909?)

«В морозном воздухе растаял легкий дым...»

В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободой томим,
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,
Исчезнуть навсегда... Но суждено идти мне
По снежной улице в вечерний этот час.
Собачий слышен лай, и запад не погас,
И попадают прохожие навстречу –
Не говори со мной – что я тебе отвечу?

1909

«Истончается тонкий тлен...»

Истончается тонкий тлен –
Фиолетовый гобелен,

К нам – на воды и на леса –
Опускаются небеса.

Нерешительная рука
Эти вывела облака,

И печальный встречает взор

Отуманенный их узор.

Недоволен стою и тих,
Я, создатель миров моих, –

Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.

1909

«Ты улыбаешься кому...»

Ты улыбаешься кому,
О путешественник веселый,
Тебе неведомые доли
Благословляешь почему?

Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет, –

Когда, закутанный плащом,
Несогревающим, но милым,
К повелевающим светилам
Смиранным возлетишь лучом.

<Не позднее 13 августа> 1909

«В просторах сумеречной залы...»

В просторах сумеречной залы
Почтительная тишина.
Как в ожидании вина
Пустые зыблются кристаллы,

Окровавленными в лучах,
Вытягивая безнадежно
Уста, открывшиеся нежно
На целомудренных стеблях:

Смотрите: мы упоены
Вином, которого не влили.
Что может быть слабее лилий
И сладостнее тишины?

<Не позднее 13 августа> 1909

«В холодных переливах лир...»

В холодных переливах лир
Какая замирает осень!
Как сладостен и как несносен
Ее золотострунный клир!

Она поет в церковных хорах
И в монастырских вечерах
И, рассыпая в урны прах,
Печатает вино в амфорах.

Как успокоенный сосуд
С уже отстоявшимся раствором,
Духовное – доступно взорам,
И очертания живут.

Колосья, так недавно сжаты,
Рядами ровными лежат;
И пальцы тонкие дрожат,
К таким же, как они, прижаты.

1909

«Озарены луной ночевья...»

Озарены луной ночевья
Бесшумной мыши полевой;
Прозрачными стоят деревья,
Овеянные темнотой, –

Когда рябина, развивая
Листы, которые умрут,
Завидует, перебирая
Их выхоленный изумруд, –

Печальной участи скитальцев
И нежной участи детей;
И тысячи зеленых пальцев
Колеблет множество ветвей.

1909

«Твоя веселая нежность...»

Твоя веселая нежность

Смутила меня.
К чему печальные речи,
Когда глаза
Горят, как свечи,
Среди белого дня?

Среди белого дня
И та – далече –
Одна слеза,
Воспоминание встречи;
И, плечи клоня,
Приподымает их нежность.

1909

«Не говорите мне о вечности...»

Не говорите мне о вечности –
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?

Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но – слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.

И тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад –
Ее пенящихся громад –
О милом и ничтожном думая.

1909

«На влажный камень возведенный...»

На влажный камень возведенный,
Амур, печальный и нагой,
Своей младенческой ногой
Переступает, удивленный

Тому, что в мире старость есть –
Зеленый мох и влажный камень –
И сердца незаконный пламень –
Его ребяческая месть.

И начинает ветер грубый
В наивные долины дуть;

Нельзя достаточно сомкнуть
Свои страдальческие губы.

1909

«В безветрии моих садов...»

В безветрии моих садов
Искусственная никнет роза;
Над ней не тяготит угроза
Неизрекаемых часов.

В юдоли дольней бытия
Она участвует невольно;
Над нею небо безглагольно
И ясно, – и вокруг нея

Немногое, на чем печать
Моих пугливых вдохновений
И трепетных прикосновений,
Привыкших только отмечать.

«Бесшумное веретено...»

Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И – мною ли оживлено –
Переливается оно
Безостановочной волною –
Веретено.

Всё одинаково темно;
Всё в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано –
Веретено.

1909

«Если утро зимнее темно...»

Если утро зимнее темно,
То холодное твоё окно
Выглядит, как старое панно.

Зеленеет плющ перед окном,
И стоят под ледяным стеклом
Тихие деревья под чехлом –

Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены
И ветвями переплетены.

Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой – шелковист –
Содрогается последний лист.

1909

«Пустует место. Вечер длится...»

Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим,
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами;

Напрасно резвые извивы –
Покуда он еще дымит –
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.

1909

«В смиренномудрых высотах...»

В смиренномудрых высотах
Зажглись осенние Плеяды.
И нету никакой отрады,
И нету горечи в мирах.

Во всем однообразный смысл
И совершенная свобода:
Не воплощает ли природа
Гармонию высоких числ?

Но выпал снег – и нагота
Деревьев траурною стала;

Напрасно вечером зияла
Небес золотая пустота;

И белый, черный, золотой –
Печальнейшее из созвучий –
Отозвалось неминучей
И окончательной зимой.

1909

«Дыханье вещее в стихах моих...»

Дыханье вещее в стихах моих
Животворящего их духа,
Ты прикасаешься сердец каких –
Какого достигаешь слуха?

Или пустынное напева ты
Тех раковин, в песке поющих,
Что круг очерченной им красоты
Не разомкнули для живущих?

1909

«Нету иного пути...»

Нету иного пути,
Как через руку твою –
Как же иначе найти
Милую землю мою?

Плыть к дорогим берегам,
Если захочешь помочь:
Руку приблизив к устам,
Не отнимай ее прочь.

Тонкие пальцы дрожат;
Хрупкое тело живет:
Лодка, скользящая над
Тихою бездною вод.

1909

«Что музыка нежных...»

Что музыка нежных
Моих славословий

И волны любви
В напевах мятежных,

Когда мне оттуда
Протянуты руки,
Откуда и звуки
И волны откуда –

И сумерки тканей
Пронизаны телом –
В сиянии белом
Твоих трепетаний?

1909

«На темном небе, как узор...»

На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и всё выше ты
Возводишь изумленный взор?

Вверху – такая темнота –
Ты скажешь – время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.

Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!

1909

«Сквозь восковую занавесь...»

Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
Безжизненной кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис.

Темнее занавестись,
Всё небо охватить

И пойманного месяца
Совсем не отпустить.

1909

«Здесь отвратительные жабы...»

Здесь отвратительные жабы
В густую прыгают траву.
Когда б не смерть, так никогда бы
Мне не узнать, что я живу.

Вам до меня какое дело,
Земная жизнь и красота?
А та напомнить мне сумела,
Кто я и кто моя мечта.

<1909>

«Слишком легким плащом одетый...»

Слишком легким плащом одетый,
Повторяю свои обеты.

Ветер треплет края одежды –
Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный – пускай скитальцы
Безотчетно сжимают пальцы.

Ветер веет неутомимо,
Веет вечно и веет мимо.

1909?

«Музыка твоих шагов...»

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов,

И как медленная тень
Ты сошла в морозный день.

Глубока, как ночь, зима,
Снег висит как бахрома.

Ворон на своем суку

Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед,

Тонкий лед моей души –
Созревающий в тиши.

<1909?>

«В непринужденности творящего обмена...»

В непринужденности творящего обмена
Суровость Тютчева – с ребячеством Верлена,
Скажите – кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величье,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!

<1908>

«Листьев сочувственный шорох...»

Листьев сочувственный шорох
Угадывать сердцем привык,
В темных читаю узорах
Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли –
Прозрачная, строгая ткань...
Острые листья исчисли –
Словами играть перестань.

К высям просвета какого
Уходит твой лиственный шум –
Темное дерево слова,
Ослепшее дерево дум?

Май 1910, Гельсингфорс

«Когда мозаик никнут травы...»

Когда мозаик никнут травы
И церковь гулкая пуста,

Я в темноте, как змей лукавый,
Влачусь к подножию креста

И пью монашескую нежность
В сосредоточенных чертах,
Как кипариса безнадежность
В неумолимых высотах.

Люблю изогнутые брови,
И краску на лице святых,
И пятна золота и крови
На теле статуй восковых.

Быть может, только призрак плоти
Обманывает нас в мечтах,
Просвечивает меж лохмотий
И дышит в роковых страстях.

<Лето 1910, Лугано>

«Под грозовыми облаками...»

Под грозовыми облаками
Несется клекот вещих птиц:
Довольно огненных страниц
Уж перевернуто веками!

В священном страхе тварь живет –
И каждый совершил душою,
Как ласточка перед грозой,
Неописуемый полет.

Когда же солнце вас расплавит,
Серебряные облака,
И будет вышина легка,
И крылья тишина расправит?

<Не позднее 5 августа 1910>

«Единственной отрадой...»

Единственной отрадой,
Отныне, сердцу дан –
Неутомимо падай,
Таинственный фонтан.

Высокими снопами
Взлетай и упадай

И всеми голосами
Вдруг – сразу умолкай.

Но ризой думы важной
Всю душу мне одень,
Как лиственницы влажной
Трепещущая сень.

<Июль> 1910

«Над алтарем дымящихся зыбей...»

Над алтарем дымящихся зыбей
Приносит жертву кроткий бог морей.

Глухое море, как вино, кипит.
Над морем солнце, как орел, дрожит.

И только стелется морской туман
И раздается тишины тимпан;

И только небо сердцем голубым
Усыновляет моря белый дым.

И шире океан, когда уснул,
И, сдержанный, величественней гул;

И в небесах, торжествен и тяжел,
Как из металла вылитый орел.

<Не позднее июня> 1910

«Необходимость или разум...»

Необходимость или разум
Повелевает на земле –
Но человек чертит алмазом
Как на податливом стекле:

Оркестр торжественный настройте,
Стихии верные рабы,
Шумите, листья, ветры, пойте –
Я не хочу моей судьбы.

И необузданным пэанам
Храм уступают мудрецы,
Когда неистовым тимпаном
Играют пьяные жрецы.

И как ее ни называйте
И для гаданий и волшбы
Ее лица ни покрывайте –
Я не хочу моей судьбы.

<Не позднее июня 1910>

«Когда укор колоколов...»

Когда укор колоколов
Нахлынет с древних колоколен,
И самый воздух гулом болен,
И нету ни молитв, ни слов –

Я уничтожен, заглушен.
Вино, и крепче, и тяжеле,
Сердечного коснулось хмеля –
И снова я неутолен.

Я не хочу моих святынь,
Мои обеты я нарушу:
И мне переполняет душу
Неизъяснимая полынть.

<Не позднее 5 августа 1910>

«Мне стало страшно жизнь отжить...»

Мне стало страшно жизнь отжить –
И с дерева, как лист, отпрянуть,
И ничего не полюбить,
И безымянным камнем кануть;

И в пустоте, как на кресте,
Живую душу распиная,
Как Моисей на высоте,
Исчезнуть в облаке Синая.

И я слежу – со всем живым
Меня связующие нити,
И бытия узорный дым
На мраморной сличаю плите,

И содроганья теплых птиц
Улавливаю через сети,
И с истлевающих страниц
Притягиваю прах столетий.

<Не позднее 5 августа 1910>

«Я вижу каменное небо...»

Я вижу каменное небо
Над тусклой паутиной вод.
В тисках постылого Эреба
Душа томительно живет.

Я понимаю этот ужас
И постигаю эту связь:
И небо падает, не рушась,
И море плещет, не пенясь.

О, крылья бледные химеры
На грубом золоте песка
И паруса трилистник серый,
Распятый, как моя тоска!

<Не позднее 5 августа 1910>

«Вечер нежный. Сумрак важный...»

Вечер нежный. Сумрак важный.
Гул за гулом. Вал за валом.
И в лицо нам ветер влажный
Бьет соленым покрывалом.

Всё погасло. Всё смешалось.
Волны берегом хмелели.
В нас вошла слепая радость –
И сердца отяжелели.

Оглушил нас хаос темный,
Одурманил воздух пьяный,
Убаюкал хор огромный:
Флейты, лютни и тимпаны...

<Не позднее 5 августа 1910>

«Убиты медью вечерней...»

С.П. Каблукову

Убиты медью вечерней
И сломаны венчики слов.

И тело требует терний,
И вера – безумных цветов.

Упасть на древние плиты
И к страстному Богу воззвать,
И знать, что молитвой слиты
Все чувства в одну благодать!

Растет прилив славословий –
И вновь, в ожидании конца,
Вином Божественной крови
Его – тяжелеют сердца;

И храм, как корабль огромный,
Несется в пучине веков.
И парус духа бездомный
Все ветры изведать готов.

<Июль> 1910, Ганге

«Как облаком сердце одето...»

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь:

Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен.

Он ждет сокровенного знака,
На песнь, как на подвиг, готов:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.

<Не позднее 5 августа 1910>

Змей

Осенний сумрак – ржавое железо –
Скрипит, поет и разъедает плоть:

Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь!

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу;
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и Музы не хочу...

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок!

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь,
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни,
Железа визг и ветра темный стон...

1910

«В самом себе, как змей, таясь...»

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь —
Я поднимаюсь над собою:

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, —

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну!

Август 1910

«Неумолимые слова...»

Неумолимые слова...

Окаменела Иудея,
И, с каждым мигом тяжелея,
Его поникла голова.

Стояли воины кругом
На страже стынувшего тела;
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом.

И царствовал и никнул Он,
Как лилия в родимый омут,
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон.

<Август> 1910, Целендорф

«Я помню берег вековой...»

.....
Я помню берег вековой
И скал глубокие морщины,
Где, покрывая шум морской,
Ваш раздавался голос львиный.

И Ваши бледные черты,
И, в острых взорах византийца,
Огонь духовной красоты –
Запомнятся и будут сниться.

Вы чувствовали тайны нить,
Вы чуяли рожденье слова...
Лишь тот умеет похвалить,
Чье осуждение сурово.

<Август> 1910, Берлин

«В изголовьи черное распятие...»

В изголовьи черное распятие,
В сердце жар и в мыслях пустота –
И ложится тонкое проклятье –
Пыльный след – на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный
Так похож на мозаичный сон!
Ах, зачем молчанья голос грозный
Безнадежной негой растворен!

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой;
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой:

Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет –
Страшен мне «подводный камень веры»¹¹,
Роковой ее круговорот!

Ноябрь 1910, Петербург

«Душный сумрак кроет ложе...»

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.

1910

«Темных уз земного заточенья...»

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог,
И тяжелым панцирем презренья
Я окован с головы до ног.

Иногда со мной бывает нежен
И меня преследует двойник;
Как и я – он так же неизбежен
И ко мне внимательно приник.

И, глухую затаив развязку,
Сам себя я вызвал на турнир;
С самого себя срываю маску
И презрительный лелею мир.

Я своей печали недостоин,
И моя последняя мечта –
Роковой и краткий гул пробоин
Моего узорного щита.

<1910?>

¹¹ Тютчев (примеч. О. Мандельштама).

«Где вырывается из плена...»

Где вырывается из плена
Потока шумное стекло,
Клубящаяся стынет пена,
Как лебединое крыло.

О время, завистью не мучай
Того, кто вовремя застыл;
Нас пеною воздвигнул случай
И кружевом соединил.

<1910?>

«Медленно урна пустая...»

Медленно урна пустая,
Вращаясь над тусклой поляной,
Сеет, надменно мерцая,
Туманы в лазури ледяной.

Тянет, чарует и манит –
Не понят, не вынут, не тронут –
Жребий – и небо обманет,
И взоры в возможном потонут.

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах.

Выбор мой труден и беден,
И тусклый простор безучастен.
Стыну – и взор мой победен,
И круг мой обыденный страстен.

11 февраля 1911

«Когда подымаю...»

Когда подымаю,
Опускаю взор –
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.

И мукою в мире

Внесены мои
Тяжелые гири,
Шаткие лады.

Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.

Есть в тяжести радость
И в паденье есть
Колебаний сладость –
Острой стрелки месть!

Июнь 1911

«Душу от внешних условий...»

Душу от внешних условий
Освободить я умею:
Пенье – кипение крови
Слышу – и быстро хмелею.

И вещества, мне родного,
Где-то на грани томленья,
В цепь сочетаются снова
Первоначальные звенья.

Там, в беспристрастном эфире,
Взвешены сущности наши –
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши;

И, в ликованьи предела,
Есть упоение жизни:
Воспоминание тела
О неизменной отчизне...

Июль 1911

«Я знаю, что обман в видении немыслим...»

Я знаю, что обман в видении немыслим
И ткань моей мечты прозрачна и прочна,
Что с дивной легкостью мы, созидая, числим
И достигает звезд полет веретена –

Когда, овеяно потусторонним ветром,

Оно оторвалось от медленной земли,
И раскрывается неуловимым метром
Рай распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья –
По мановению эфирного гонца –
В край, где слагаются заоблачные звенья
И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь, художник, –
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.